Е. Ю. МИХАЙЛИК

Михайлик Елена Юрьевна
PhD, лектор,
Университет Нового Южного Уэльса (Сидней, Австралия)
The University of New South Wales (UNSW),
Australia, Sydney, NSW 2052
Тел.: 612-93852389
E-mail: Elena.Mikhailik@sbs.com.au

ВРЕМЯ «КОЛЫМСКИХ РАССКАЗОВ». 1939 — ГОД, КОТОРОГО НЕТ

Аннотация. В статье предпринята попытка проанализировать характер обращения со временем в «Колымских рассказах» Варлама Шаламова, в частности, расследуется «казус 1939 года». 1939 год, время действия многих ключевых рассказов, крайне важный внутри КР событийно, непосредственно как дата практически отсутствует в тексте. Эта проблема, на наш взгляд, является частью более сложной проблемы КР. Шаламов изображает время вообще и историческое время в частности как биосоциальную категорию. Способность воспринимать время и соотноситься с ним в КР прямо зависит от социального положения персонажа и его физического состояния. Чтобы эта социальная несоотнесенность со временем и историей попадала в поле зрения читателя, в том же поле зрения с неизбежностью должны присутствовать сами время и история — как объекты отторжения. Одним из таких объектов, одновременно присутствующих и отсутствующих, и стал 1939 год — как мы полагаем, «эталонный» лагерный год по Шаламову.

Ключевые слова: поэтика, время, лагерная литература, Варлам Шаламов, «Колымские рассказы», 1939

1

Рассказ Варлама Шаламова «Сентенция» начинается со слов: «Люди возникали из небытия — один за другим» [Шаламов 2004–2013 (1): 399][1]. Читатель не вдруг осознает, что фраза описывает не столько этих возникающих, сколько состояние рассказчика: сознание вернулось к

[1] Далее ссылки на это издание будут для краткости даваться только с указанием тома и номера страницы в квадратных скобках.

© Е. Ю. МИХАЙЛИК

нему настолько, что он обрел способность замечать присутствие других — и рассказывать об этом. Ведь «Сентенция» — это история о том, как распадающийся на части приисковый доходяга, кипятильщик, а потом помощник топографа геологической партии потихоньку — несколько лишних калорий здесь, несколько часов сна там — начинает замечать мир вокруг, узнавать окружающих, испытывать какие-то чувства — равнодушие, злобу, зависть, жалость к животным, жалость к людям, — пока под теменной костью у него не пробуждается нелагерное «римское слово» «сентенция», окончательно восстанавливающее связь с прежней личностью, прежней жизнью. Связь хрупкую, неверную, несовершенную, но бесконечно ценную. В финале «Сентенции» рассказчик уже способен радоваться симфонической музыке и укладывать свои ощущения в аллитерированную многослойную метафору: «Шеллачная пластинка кружилась и шипела, кружился сам пень, заведенный на все свои триста кругов, как тугая пружина, закрученная на целых триста лет» [1: 406].

Впрочем, читатель к этому времени уже знает, что точно так же — ударит мороз, сократится пайка, изменится работа — все достигнутое может обвалиться внутрь и уйти обратной спиралью к состоянию до первой фразы рассказа, до черты, где организм еще условно жив, но вести повествование уже некому, — или за эту черту.

Плотность повествования, объем информации на единицу текста поражают воображение, и потому достаточно легко не заметить один небольшой информационный пакет, который в рассказе явным образом отсутствует: дату. Время действия «Сентенции» из самого рассказа не восстанавливается. Возможно, дело в том, что персонаж вместе со всем прочим утратил счет времени? Нет — он может сказать: «Я позавидовал мертвым своим товарищам — людям, которые погибли в тридцать восьмом году» [1: 402], но как далеко отстоит от него тридцать восьмой год, остается неизвестным.

В пределах цикла «Левый берег», в который входит рассказ, год тоже не вычисляем — за отсутствием маркеров.

А между тем эта важная дата, дата временного воскресения, определяется точно.

Великий и страшный 1939 год был для Варлама Шаламова счастливым. В декабре 1938 г. Шаламова выдернули с прииска «Партизан» на следствие по так называемому делу юристов. Ничего, кроме расстрела, дело не обещало, но дальше вмешалась обычная лагерная случайность: был арестован инициатор процесса, и всех подследственных выпустили на магаданскую пересылку. В Магадане — другая случайность — гуляла эпидемия тифа, а потому «з/к з/к»[2] не разослали сразу по управлениям, а задержали в карантине. Удача большая — заключенных в карантине, конечно, гоняли на

[2] Стандартный способ бюрократического обозначения заключенных во множественном числе.

работу, но работа эта не была сама по себе убийственной. Еще их кормили и периодически мыли, и эта передышка, продолжавшаяся до апреля 1939 г., вероятнее всего, спасла Шаламову жизнь. А весной — случайность третья, решающая и самая волшебная — по запоздалому распределению он попал не на страшное, смертельное золото и даже не на уголь, а в геологоразведку на Черное озеро, где, ввиду полного физического истощения и мягкости геологических нравов, работал сначала кипятильщиком, а потом помощником топографа, т. е. оказался в той самой ситуации, которая и описана в «Сентенции».

Надо отметить, что на то, что в 1930-е называли материалом, год также оказался щедрым. Рассказы «Тифозный карантин»[3], «Хлеб», «Детские картинки», «Эсперантист» (из которого читатель узнает, при каких именно обстоятельствах рассказчик потерял драгоценное место в геологоразведке и оказался в угледобывающем лагере, где его сразу приставили к «египетскому» конному вороту вместо лошади), «Апостол Павел», «Богданов», «Триангуляция III класса», «Сука Тамара», «Иван Богданов» и уже упомянутая «Сентенция» — все это урожай 1939 г., собранный, конечно, много позже, в 1950-е и 1960-е.

Собственно, сюжеты и обстоятельства 1939-го в «Колымских рассказах» всплывают постоянно. А вот сам 1939 год как дата если и заметен, то отсутствием. Как в «Сентенции».

И если — опять-таки, как в «Сентенции» — 1937-й, погибельный, или не менее погибельный 1938-й постоянно упоминаются, в том числе и персонажами («Обратите внимание — никто вас не бьет, как в тридцать восьмом году. Никакого давления» [1: 347]), то 1939 год во всем корпусе «Колымских рассказов» (далее — КР) на пространстве пяти сборников рассказов поименован — прямо и косвенно — в общей сложности десять раз.

Более того, при анализе корпуса создается впечатление, что именно эту дату почему-то не получается воспринять непосредственно, а можно только восстановить постфактум, по вешкам и приметам — извне, из иной ситуации. В самом 1939-м как бы невозможно, не получается знать, что сейчас — тридцать девятый.

Это потом, сделавшись дневальным химического кабинета, учащимся привилегированных фельдшерских курсов, фельдшером или даже писателем, рассказчик сумеет припомнить, с кем и как мыл пол в 1939-м на магаданской пересылке или работал на Черном озере. Сам же обитатель карантина и реечник геологоразведки, кем бы он ни был, существует словно бы не в 1939-м календарном году, а в каком-то другом месте — или времени.

Где?

[3] Естественно, частично относящийся и к 1938 г.

2

Если мы несколько расширим поле исследования, то обнаружим, что для советской лагерной литературы рассказ о лагере — и, собственно, сам лагерь — кажется, начинаются не с пространства, а с надлежащим образом организованного времени.

> Году в тысяча девятьсот сорок девятом напали мы с друзьями на примечательную заметку в журнале «Природа» Академии Наук. Писалось там мелкими буквами, что на реке Колыме во время раскопок была как-то обнаружена подземная линза льда — замерзший древний поток, и в нем — замерзшие же представители ископаемой (несколько десятков тысячелетий назад) фауны. Рыбы ли, тритоны ли эти сохранились настолько свежими, свидетельствовал ученый корреспондент, что присутствующие, расколов лед, тут же охотно съели их [Солженицын 2006 (1): 7].

> Тридцать седьмой год начался, по сути дела, с конца 1934-го. Точнее, с первого декабря 1934-го [Гинзбург 1991: 8].

> Я родился в городе Воронеже 1 января 1930 года [Жигулин 1996: 5].

Список этот — Солженицын, Гинзбург, Жигулин — можно продолжать просто по алфавиту. Г, «Горбатов»: «В один из весенних дней 1937 года, развернув газету, я прочитал, что органы государственной безопасности “вскрыли военно-фашистский заговор”» [Горбатов 1989: 116]. З, «Заболоцкий»: «Это случилось в Ленинграде 19 марта 1938 г. Секретарь Ленинградского отделения Союза писателей Мирошниченко вызвал меня в союз по срочному делу» [Заболоцкий 1995: 389]. Ч, «Четвериков»: «Я пишу эти строки 12 апреля 1979 года...» [Четвериков 1991: 20].

Прозаики, поэты, мемуаристы и случайные прохожие, говоря о лагере как явлении, первым делом выстраивали временну́ю последовательность, размещали лагерь в истории и биографии, подправляли по мере необходимости официальную — и неофициальную — хронологию. И утверждали — так было. Именно тогда, в эти календарные сроки.

Парадоксальным (и естественным) образом включение лагерного — чудовищного, неправильного и недолжного — опыта в общее течение биографии и истории воспринималось как восстановление связи и связности времен.

Но у этого восстановления имелись три — большей частью непреднамеренных — грамматических последствия:

1. Лагерь оказывается целиком и полностью отнесен к прошедшему времени. Солженицын даже вынес срок жизни своего «героя», «Архипелага ГУЛаг» — «1918–1956» — в заглавие книги. У лагеря в этих текстах есть дата рождения и дата смерти. Для аудитории он — прошлое.

2. Лагерь как историческое событие и даже как историческое лицо, наделенное именем и фамилией, не подразумевает вопросов «с чем мы име-

ем дело?», «как этот объект оказался посреди нашей географии?», «как *мы* оказались здесь, и кто мы такие — что мы оказались здесь?» — ибо в разнообразных идеологических парадигмах на все эти вопросы уже даны всевозможные ответы, и читатель выбирает из них в соответствии со своим представлением об общей истории страны.

3. Обращение к прошлому на биографическом уровне, сам жанр — рассказа, повести, «художественного исследования», мемуара или псевдомемуара — по определению подразумевает, что рассказываемая история закончена и обладает не только фабулой, но и сюжетом, т. е. предлагает аудитории освоенный автором смысл. «Я — достаточно там посидел, я душу там взрастил и говорю непреклонно: — Благословение тебе, тюрьма, что ты была в моей жизни!» [Солженицын 2006 (2): 501]. Читатель исходит из того, что выживший по определению знает, что и зачем он пишет. Он ждет — истории.

Таким образом, помещая лагерь в контекст исторического времени, авторы достаточно жестко задают и границы возможного разговора, и формат этого разговора, подразумевающий конечность, сюжетность и опосредованность. Лагерь здесь может быть только конкретно-историческим явлением.

Ну, а если из хронологии этого явления вдруг выпадает дата, значит, либо этого периода не было в авторском опыте, либо подвела память, либо автор так или иначе ангажирован и его этот год и происходящее в нем так или иначе не устраивают.

3

Можно ли применить эту логику к «Колымским рассказам»? Как и из чего сделано Шаламовым время лагеря?

Рассказ «На представку», фактически открывающий КР, начинается словами «Играли в карты у коногона Наумова» — неоднократно всеми упомянутым и исследованным парафразом зачина «Пиковой дамы»: «Играли в карты у конногвардейца Нарумова»[4].

[4] Парафраз этот неизменно осознается в категориях противопоставления. Ср., например: «Так, например, один из замечательных “Колымских рассказов” Варлама Шаламова начинается словами: “Играли в карты у коногона Наумова”. Эта фраза сразу же обращает читателя к параллели — “Пиковой даме” с ее началом: “...играли в карты у конногвардейца Нарумова”. Но помимо литературной параллели, подлинный смысл этой фразе придает страшный контраст быта. Читатель должен оценить степень разрыва между конногвардейцем — офицером одного из самых привилегированных гвардейских полков — и коногоном — принадлежащим привилегированной лагерной аристократии, куда закрыт доступ «врагам народа» и которая рекрутируется из уголовников. Значима и разница, которая может ускользнуть от неосведомленного читателя, между типично дворянской фамилией Нарумов и простонародной — Наумов. Но самое важное — страшная разница самого характера карточной игры. Игра — одна из основных форм быта и именно из таких форм, в которых с особенной резкостью отражается эпоха и ее дух» [Лотман 1994: 13–14]; «Если в тексте Пушкина — раскрытое пространство, свободное течение времени и вольное движение жизни, то у Шаламова — пространство замкнутое, время как бы останавливается и уже не

Для нас, однако, важно, что в числе прочих решаемых задач эта издевательская цитата устанавливает отношения КР с историей и культурой. Только это отношения не связи и связности, а конфликта и разрыва. То, что в классической литературе, в культурной традиции (а в среднем лагерная литература апеллировала именно к ней) заполняло нишу ужасного, с ситуацией, где человека убивают, потому что понадобившийся для расчета при карточной игре свитер снять проще с мертвого, чем с живого, не соотносится вовсе. Какая, право, готика, какие, право, привидения.

Что не менее важно, внутри текста «На представку» этот разрыв, этот конфликт не мог быть осознан никем, включая рассказчика. Последний вполне способен подробно и вдумчиво описывать подробности колымского быта и этикета блатных, но слишком голоден и слишком не хочет возвращаться в замерзший барак, чтобы делать выводы из собственных наблюдений, даже если речь идет о жизни и смерти (в том числе и его собственных жизни и смерти).

Как следствие, все заключения о том, насколько реальность рассказа «На представку» отделена от обстоятельств «Пиковой дамы» (и насколько в этой ситуации необходим новый отсчет), приходится делать уже читателю — и самостоятельно. Таким образом, характерная для лагерной литературы модель взаимодействия с текстом, где все смыслы в теории производит автор, развернута на 180 градусов.

Однако чтобы читатель мог сделать этот вывод, кто-то — уже не персонажи, не рассказчик, а автор КР — должен предварительно поставить перед ним вопрос. Чтобы читатель мог осознать дистанцию до «Пиковой дамы» — «Пиковую даму» необходимо ввести в барак коногонов. Чтобы связь времен видимым образом порвалась, она должна в каком-то виде наличествовать.

Можно было бы счесть это слишком развернутой трактовкой единичного случая, единичного парафраза, но если мы посмотрим на то, как Шаламов вообще обращается со временем, мы увидим структурно ту же ситуацию.

Упоминая любое враждебное для человека явление (из бесчисленного множества колымских явлений этого сорта), Шаламов как правило наделяет его характеристикой длительного или постоянного действия.

«Дождь лил третьи сутки, не переставая» [1: 67].

«Круглыми сутками стоял белый туман...» [1: 56].

«Плевки замерзали на лету уже две недели» [1: 56].

«Природа на Севере не безразлична, не равнодушна — она в сговоре с теми, кто послал нас сюда» [1: 106].

Лагерное устройство во всех его формах здесь приравнивается к явлениям природы. В рассказе «Как это началось», описывая процесс кристал-

законы жизни, но смерть определяет поведение персонажей. Смерть не как событие, но как имя тому миру, в каком мы оказываемся, раскрыв книгу...» [Тимофеев 1991: 186].

лизации лагерной Колымы из Колымы географической, рассказчик совмещает, сводит в один образ холод, голод, снежные заносы и тогдашнего начальника УСВИТЛ[5] полковника Гаранина, не делая между ними никакого различия, осмысляя их как вполне однородные по характеру воздействия строевые элементы образующейся системы:

> Много месяцев день и ночь на утренних и вечерних поверках читались бесчисленные расстрельные приказы. В пятидесятиградусный мороз заключенные музыканты из бытовиков играли туш... Музыканты обмораживали губы, прижатые к горловинам флейт, серебряных геликонов, корнет-а-пистонов... Каждый список кончался одинаково: «Приговор приведен в исполнение. Начальник УСВИТЛ полковник Гаранин» [1: 428].

Автор наделяет чтение «бесчисленных расстрельных приказов» той же временнóй характеристикой, что и «холодный мелкий дождь». Глаголы несовершенного вида: «обмораживали», «покрывалась», «кончался», нагружают действие добавочным значением продолжительности и незавершенности.

Кроме того, внутри хронотопической системы КР время, в котором существует лагерь, тягучая длительность любого из его проявлений постоянно сопоставляется с протяженностью человеческой жизни: при многолетних сроках заключения «золотой забой делал из здоровых людей инвалидов в три недели...» [1: 419]. Соответственно, и внутренний отсчет времени з/к оперирует мелкой валютой — часами, днями: «Две недели — срок очень далекий, тысячелетний» [1: 335], «День было прожить трудно, не то что год» [1: 340].

Впрочем, довольно быстро голод, холод, усталость, страх перед неопределенным будущим, иррациональность лагерного мира, невозможность ориентироваться в нем, неизбежный распад памяти и функций мозга («Думать было больно» [1: 110]) лишают героев КР самой способности воспринимать течение времени, обращают «сейчас» в неколебимое «всегда»: «…а после перестаешь замечать время — и Великое Безразличие овладевает тобой» [1: 426].

Здесь нам придется вторгнуться в сферу пока что очень косвенно сопрягающихся с литературоведением дисциплин — нейрологии и психологии. На момент создания основного массива советской лагерной литературы этой информации еще не существовало; только в 1990-е годы были поставлены эксперименты Д. Канемана и Д. Редельмайера. Пациентам, вынужденным, например, переносить болезненные операции без наркоза, предлагали фиксировать уровень боли в каждый момент времени, а по окончании процедуры заново оценить свой опыт в целом. Выяснилось, что люди, которые отлично отдавали себе отчет в

[5] Управление Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей.

том, что испытывают в процессе, неизменно не сохраняли памяти ни о подлинном объеме испытанной боли, ни — что еще важнее — о длительности процедуры как таковой. «Вспоминающее я» человека, превращая переживания в сюжет, просто отбрасывало эти данные.

Собственно, феномен оказался настолько стабильным, что породил термин duration neglect (пренебрежение длительностью) [Redelmeier, Kahneman 1996: 4]; более того, пациенты пользовались своим опытом в дальнейшем как критерием при выборе между процедурами, системно предпочитая самому безболезненному и быстрому варианту тот, где под конец они испытывали некоторое облегчение [Kahneman 2011: 379–382].

Приходится сделать вывод, что та часть личности выжившего, которая отвечает за освоение, осмысление и передачу опыта, по определению не помнит и, видимо, физически не способна помнить, через что прошла. А та часть, которая переживала этот опыт шаг за шагом, лишена речи и памяти, и времени для нее не существует вовсе.

Фактически Шаламов, воспроизводя для читателя постепенное рассоединение и исчезновение времени, дублирует реальный физиологический процесс, в тот момент еще не описанный специалистами, но, вероятно, известный автору КР непосредственно. Герой «Сентенции» возникает из того самого небытия и точно так же не способен вспомнить, что с ним там происходило.

Но, как уже было сказано, чтобы субъективные нарушения или само прекращение хода времени стали заметны читателю, даже колымское время должно течь и все же измеряться.

Чтобы в поле зрения попадала несоотнесенность среднего з/к с «большой историей» (а как будет соотноситься с нею, например, герой рассказа «Ночью» Глебов, не помнящий, «был ли он сам когда-нибудь врачом», и другой Глебов, а возможно, тот же самый, забывший имя собственной жены?), в том же поле зрения с неизбежностью должна присутствовать и сама «большая история». Ведь ни движение, ни отсутствие движения невозможно показать, не имея системы координат, точки отсчета. Чтобы создать для читателя безвременье, Шаламов вынужден вводить в КР время.

Выглядит это примерно так. Открывая цикл «Артист лопаты», читатель обнаруживает, что рассказы «Июнь» и «Май» (объединенные общим персонажем, Андреевым), кажется, идут не в том порядке — лето опережает весну. В процессе чтения из кратких замечаний персонажей о положении на фронтах выясняется, что Шаламов вовсе не нарушил хронологической последовательности, ибо «Июнь» — это июнь 1941 г. (собственно, действие рассказа начинается в день нападения Германии на СССР), а «Май» — май 1945 г. Исчерпывается ли этим работа со временем? Нет.

По тем же самым кратким замечаниям достаточно заметно, что соотнесенность с историческим временем существует в рассказах как биосоциальная роскошь, большинству з/к недоступная и откровенно для них чужая[6]:

> — Слушайте, — сказал Ступницкий. — Немцы бомбили Севастополь, Киев, Одессу.
> Андреев вежливо слушал. Сообщение звучало так, как известие о войне в Парагвае или Боливии. Какое до этого дело Андрееву? Ступницкий сыт, он десятник — вот его и интересуют такие вещи, как война [1: 551].

Или:

> «Слышь, вы, господа каторжане, — сказал он, — война кончилась. Неделю назад кончилась. Второй курьер из управления пришел. А первого курьера, говорят, беглецы убили».
> Но Андреев не слушал врача [1: 563].

Но на самом деле на этом уровне истощения не только интерес и внимание к событиям внешнего мира, но и, как мы уже говорили, сам счет времени становится з/к не по карману. С этим, собственно, и сталкивается читатель уже на уровне сюжета, поскольку:

а) в «Июне» действие из конца июня за предполагаемые максимум два месяца демонстративно перескакивает в зиму:

> Корягин снял Андреева с подземной работы. Зимой холод в шахте достигает всего двадцати градусов на нижних горизонтах, а на улице — шестьдесят. Андреев стоял в ночной смене на высоком терриконнике, где громоздилась порода [1: 555–556] –

причем зима эта наступает вдруг после июля, проскочив самый теплый колымский месяц, август;

б) событие же, с которого начинается рассказ «Май» (поимка лагерного разбойника), явным образом происходит в апреле.

А заканчиваются рассказы при этом почти одной и той же фразой: «У него была температура» [1: 558]; «У него поднималась температура» [1: 563]. (В обоих случаях высокая температура — обстоятельство, естественно, сугубо положительное, способствующее выживанию персонажа.)

---

[6] В работе Леоны Токер исчерпывающе разобраны существо и важность этого семантического разрыва для советской аудитории, которая привыкла воспринимать Вторую мировую (или, точнее, Великую Отечественную) войну как одно из опорных событий советской истории и (что еще важнее) как всеобщий разделенный опыт и которая с вероятностью была дезориентирована тем обстоятельством, что для части их современников война могла оказаться вещью неважной, несущественной и недостойной внимания [Toker 2015].

Дословное совпадение концовок можно с уверенностью считать неслучайным — оба рассказа написаны в 1959 г. и сведены в последовательность авторской волей. Шаламов фактически замыкает обе истории на единый финал, создавая у читателя иллюзию того самого недвижного, неотслеживаемого, не допускающего ориентации внутри себя лагерного времени.

Фактически степень соотнесенности персонажа с историческим и биологическим временем является индикатором физического распада, меры поглощенности лагерной системой. Более того, в шаламовском мире лагерное время и время обычное не могут сосуществовать в пределах одного организма. Недаром в рассказе «Припадок» память о лагере своим появлением как бы выталкивает повествователя из окружающей его реальной, постлагерной, вполне исторической действительности обратно, в прежний опыт. Там, где есть лагерь, не существует ничего иного.

Относится это правило не только к людям. В рамках КР (мы уже говорили об этом в других работах [Михайлик 2002; 2009; 2013]) в лагере гибнут любые вещи, существа, тексты и идеи из внешнего мира: из книги сделают колоду карт; кошку убьют и съедят уголовники; шарф, костюм, фотографию близкого человека отнимут при досмотре или украдут; посылка из дома едва не станет причиной смерти; драгоценные письма от жены сожжет пьяный лагерный начальник; сюжет пьесы «Сирано» будет использован, чтобы руками ничего не подозревающего персонажа довести до самоубийства его жену. В рассказе «Галстук» персонажу даже не удается подержать в руках эту предназначенную ему в подарок гражданскую деталь одежды: вышитый галстук будет отобран еще одним лагерным начальником прямо у изготовившей его мастерицы. Ни галстук, ни такая сложная социальная концепция, как подарок, в лагере сами по себе существовать не могут[7].

Все сказанное позволяет нам предположить, что Шаламов считал лагерь батареей параметров качества жизни, вернее невыносимого, убийственного отсутствия этого качества, мерой энтропии, мерой социально организованного всеобщего распада — не ограниченного географическими границами Колымы и временными рамками истории ГУЛАГа (или советской власти) и легко воспроизводимого на любом субстрате.

[7] См., например, рассказ «Геркулес», где врач, подаривший начальнику больницы своего любимого петуха, тут же станет свидетелем тому, как почетный гость, начальник санотдела, оторвет беззащитной ручной птице голову — демонстрируя свою богатырскую силу. Как правило, внутри корпуса КР успешно (и без катастрофических последствий) дарить подарки могут люди, чье «социальное положение» много выше положения одариваемого. Сами подарки часто при этом носят специфически лагерный характер: «А Крист был все еще жив и иногда — не реже раза в несколько лет — вспоминал горящую папку, решительные пальцы следователя, рвущие кристовское “дело”, — подарок обреченному от обрекающего» [1: 437].

Вот, например, рассказ «Белка» (цикл «Воскрешение лиственницы»), повествующий о том, как посреди революции, голода и расстрела заложников совершенно обычные жители нелагерной и не испорченной еще квартирным вопросом Вологды образца 1918 г. самозабвенно толпой охотятся на забежавшую в город белку и убивают ее — точно так же, как потом в лагере будут безумные полусытые люди ловить безумных умирающих от голода людей на забытую на столе хлебную пайку и бить смертным боем за «воровство».

В рассказе «Воскрешение лиственницы», давшем имя циклу, рассказчик напишет:

> Зрелость даурской лиственницы — триста лет. Триста лет! Лиственница, чья ветка, веточка дышала на московском столе, — ровесница Натальи Шереметевой-Долгоруковой и может напомнить о ее горестной судьбе... [2: 278].

Эти триста лет, срок зрелости даурской лиственницы, временно́е расстояние от Шаламова до Натальи Шереметевой, уже встречались на страницах «Колымских рассказов». Это те самые триста годовых колец пня, послужившего подставкой для патефона в финале «Сентенции» — «заведенный на все свои триста кругов, как тугая пружина, закрученная на целых триста лет» [1: 406]. И за эти триста лет, заключает Шаламов, «ничего не изменилось в России — ни судьбы, ни человеческая злоба, ни равнодушие» [2: 278].

В рамках образной и философской системы КР лагерь не был построен советской властью, не возник из ниоткуда и не разверзся внезапно — он был здесь всегда, и вовсе не как политическое явление. Он с неизбежностью проступает на стыке физических обстоятельств и человеческой природы всюду, где эти обстоятельства и эта природа будут предоставлены друг другу достаточно долго — как это вышло волей Севвостлага на Колыме или волей Анны Иоанновны в Березове. Достаточно долго — это, например, две недели.

С чем же связано тогда неупоминание 1939 года — что за состояние, что за категорию нежизни обозначает эта дата?

3

Отличался ли для самого Шаламова 1939-й от прочих колымских лет? Существовал ли отдельно? Можно сказать с уверенностью — да, отличался, существовал. Вот, например, что пишет Шаламов Солженицыну в ноябре 1964 г. о свежеопубликованных мемуарах А. Горбатова («Новый мир», 1964, № 3–5):

> Горбатов — порядочный человек. Он не хочет забыть и скрывать своего ужаса перед тем, что он встретил на прииске «Мальдяк» ‹…›

> Посчитав все сроки, Вы увидите, что Горбатов пробыл на «Мальдяке» всего две-три недели, самое большее полтора месяца, и был выброшен из забоя навечно как человеческий шлак. А ведь это был 1939 год, когда волна террора уже спала, спадала [6: 307].

Характерно, что историки Колымы и Дальстроя разделяют эту оценку: к началу 1939 г. волна политического террора, волна расстрелов действительно спала. А вот террор производственный никуда не исчез. Собственно, именно тогда он и был поставлен на порядок дня и введен в систему [Бацаев 2002: 92]. Это в 1939 г. были ликвидированы созданные первым директором гостреста «Дальстрой» Э. П. Берзиным колонии — поселки свободного проживания для заключенных, а их обитатели возвращены за проволоку [Там же: 94]. Это в 1939 г. была отменена система условно-досрочного освобождения, а основным стимулом «для повышения производительности труда» были признаны «снабжение и питание»[8]. Это в 1939 г. массово восстанавливаются вышки и заграждения и переводятся на усиленный лагерный режим все заключенные, не выполняющие 100% дневной выработки. Это летом 1939 г. «всех отказчиков от работы и злостно не выполняющих нормы работы заключенных было приказано перевести на штрафное питание» [Зеляк 2004: 65], а на всех приисках создавались карцеры для отказчиков и нарушителей дисциплины, где дневная пайка состояла из 400 граммов хлеба и кипятка (естественно, эти 400 граммов существовали в основном на бумаге). Это в 1939 г. лагерное начальство систематически получало выговоры с занесением за «неполное выставление рабочей силы на основное производство» [Там же: 66], а восемь таких начальников были арестованы в административном порядке: довольно несложно представить себе, как эти меры отразились на состоянии заключенных. Списочный состав рабочей силы тех самых страшных горных управлений увеличился с 55 362 до 86 799 человек (при плановой цифре в 61 617 человек) [Бацаев 2002: 59]. Перевыполнили.

Но одновременно — прибыли свежие пополнения с материка, а в связи с этим отпала необходимость в постоянных 14–16-часовых сверхурочных работах, были восстановлены выходные, заключенных начали периодически подкармливать в интересах выполнения плана. Появилась какая-то инфраструктура, отсутствовавшая годом раньше. И колымская смертность, в 1938 г. достигшая почти 12%, опускается до 7,5% — цифры тоже уничтожающей, но уже свидетельствующей не об интенсивном массовом заморе, а о постепенном медленном вымирании, не противоречащем в этом виде нуждам горной промышленности [Кокурин, Моруков: 536–537].

Нам кажется, что эта административно-бытовая картина в сочетании с уже описанной поэтикой времени в КР и представлением Шаламова о природе лагеря позволяет объяснить, почему 1939 год в КР сделался отчасти фигурой умолчания.

[8] Постановление Политюбро ЦК ВКП(б) «О лагерях НКВД» от 10 июня 1939 г.

В пределах шаламовской поэтики 1939 год занял место образцового лагерного года, эталона, «точки зеро». Времени, когда колымская лагерная система уже сложилась во всем своем производственном великолепии, не смущаемом торжествующей бесхозяйственностью и политическим ражем 1937-го и 1938-го. Это место среды, той воды, которую не способна заметить или назвать по имени лагерная рыба, того состояния, чьи параметры можно опознать только в сравнении.

Среды, в которой может повезти даже прожить подольше, если не попасть в горное управление, если работа окажется посильной. Среды, где голод недостаточно силен, чтобы убивать быстро...

Но при этом «благополучный» рассказчик, счастливо застрявший в тифозном карантине, будет видеть во сне хлеб, хлеб и хлеб, а ребенок, живущий рядом с лагерем, ничего не запомнит и не сможет нарисовать о своей жизни, «кроме желтых домов, колючей проволоки, вышек, овчарок, конвоиров с автоматами и синего, синего неба» [1: 108].

Среды, в которой можно при невероятной удаче и таком же упорстве вернуть себе слово «сентенция» — до первого похолодания или доноса.

1938-й в КР легко датируем и отличим — по расстрелам и исчезновениям, внезапному голоду, тифу, зимней жизни в палатках, 16-часовому рабочему дню, рукам работяг, мгновенно согнувшимся и окаменевшим по черенку лопаты. По тому обстоятельству, что к окончанию любой размещенной в этом году истории рассказчик, фокус непрямого повествования, его сосед или сосед соседа — в общем, кто-нибудь — будет с вероятностью мертв. С не меньшей вероятностью — мертвы будут они все.

Военные годы узнаются по американскому ленд-лизовскому хлебу, эпидемии лагерных процессов, массовому битью — много есть в КР примет времени, сцепленных с датами, различают их «з/к з/к», начнет различать и читатель.

Но чтобы сказать «это было в 1939-м» — нужно переменить состояние, выйти из среды, встать вовне и сверху — фельдшером, писателем, обитателем исторического времени. Посмотреть на тонкую корку льда, отделяющую некое подобие жизни от безвременья, одинакового для з/к Андреева и Натальи Шереметевой, для всех представителей нашего биологического вида, и сказать: «Это тридцать девятый. Идеальный лагерь. Вот он, оказывается, был какой».

Литература

Бацаев 2002 — *Бацаев И. Д.* Особенности промышленного освоения северо-востока России в период массовых политических репрессий (1932–1953). Дальстрой. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2002.

Гинзбург 1991 — *Гинзбург Е.* Крутой маршрут. М.: Книга, 1991.

Горбатов 1989 — *Горбатов А. В.* Годы и войны. М.: Воениздат, 1989.

Жигулин 1996 — *Жигулин А. В.* Черные камни. Урановая удочка. М.: Культура, 1996.

Заболоцкий 1995 — *Заболоцкий Н. А.* Огонь, мерцающий в сосуде...: Стихотворения и поэмы. Переводы. Письма и статьи. Жизнеописание. Воспоминания современников. Анализ творчества: Сб. / Сост., жизнеописание и примеч. Н. Н. Заболоцкого. М.: Педагогика-Пресс, 1995.

Зеляк 2004 — *Зеляк В. Г.* Пять металлов Дальстроя: История горнодобывающей промышленности Северо-Востока в 30-х – 50-х гг. XX в. Магадан: [б. и.], 2004.

Кокурин, Моруков 2005 — Сталинские стройки ГУЛАГа. 1930–1953 / Сост. А. И. Кокурин, Ю. Н. Моруков; Под общ. ред. акад. А. Н. Яковлева. М.: МФД, 2005.

Лотман 1994 — *Лотман Ю. М.* Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). СПб.: Искусство–СПБ, 1994.

Михайлик 2002 — *Михайлик Е. Ю.* Кот, бегущий между Солженицыным и Шаламовым // Шаламовский сборник. Вып. 3 / Сост. В. В. Есипов. Вологда: Грифон, 2002. С. 101–114.

Михайлик 2009 — *Михайлик Е. Ю.* Не отражается и не отбрасывает тени: «закрытое» общество и лагерная литература // Новое литературное обозрение. № 100. 2009. С. 356–375.

Михайлик 2013 — *Михайлик Е. Ю.* Документность «Колымских рассказов» Шаламова: деформация как подлинность // Статус документа: окончательная бумажка или отчужденное свидетельство? / Под ред. И. М. Каспэ. М.: Нов. лит. обозрение, 2013. С. 298–322.

Солженицын 2006 — *Солженицын А. И.* Архипелаг ГУЛаг (1918–1956): Опыт художественного исследования: В 2 т. Екатеринбург: У-Фактория, 2006.

Тимофеев 1991 — *Тимофеев Л.* Поэтика лагерной прозы: Первое чтение «Колымских рассказов» В. Шаламова // Октябрь. 1991. № 3. С. 182–195.

Четвериков 1991 — *Четвериков Б.Д.* Всего бывало на веку. Л.: ЛИО «Редактор», 1991.

Шаламов 2004–2013 — *Шаламов В. Т.* Собр. соч.: В 6 т. М.: ТЕРРА — Книжный клуб, 2004–2013.

Kahneman 2011 — *Kahneman D.* Thinking fast and slow. New York: Farrar, Strauss and Giroux, 2011.

Redelmeier, Kahneman 1996 — *Redelmeier D. A., Kahneman D.* Patients' memories of painful medical treatments: Real-time and retrospective evaluations of two minimally invasive procedures // Pain. Vol. 66. No. 1. 1996. P. 3–8.

Toker 2015 — *Toker L.* Rereading Varlam Shalamov's 'June' and 'May': Four kinds of knowledge // (Hi)stories of the Gulag / Ed. by F. Fischer von Weikersthal, K. Thaidigsmann. Heildelberg: Universitätsverlag Winter (forthcoming).

Time in the "Kolyma Tales". 1939 — the year that wasn't there

Mikhailik, Elena Iu.
PhD, Lecturer, The University of New South Wales (UNSW)
Australia, Sydney, NSW 2052
Tel.: 612-93852389
E-mail: Elena.Mikhailik@sbs.com.au

Abstract: This paper attempts to analyse the treatment of time in the "Kolyma Tales" of Varlam Shalamov: in particular, we investigate "the case of the year 1939". As a date, as a number the year 1939, the time in which many of the key KT stories are set, a period that is very important within the general structure of the events, is for all practical purposes absent from the narration. This problem, in our view, is part of a more complex issue: Shalamov is portraying time in general and historical time in particular as a biosocial category. The very ability to perceive time and relate to it in KT depends directly on the social status of the character, and (therefore) on their physical state. However, if this social lack of cohesion with time and history is to be noticed by the audience, the very same time and history have to be a noticeable part of the general landscape — as objects of rejection. One of such objects that are present and absent at the same time happens to be the year 1939 — a period that represents, as we believe, the model, "perfect" prison camp year in Shalamov.

Keywords: poetics, time, labour camp literature, Varlam Shalamov, "Kolyma Tales", 1939

References

Batsaev, I. D. (2001). *Osobennosti promyshlennogo osvoeniia severo-vostoka Rossii v period massovykh politicheskikh repressii (1932–1953). Dal'stroi* [Specific features of the industrial development of the Russian North-East during the period of mass political repressions (1932-1953. Dalstroy.]. Magadan: SVKNII DVO RAN. (In Russian).

Chetverikov, B. D. (1991). *Vsego byvalo na veku* [I've seen it all in my time]. Leningrad: LIO "Redaktor". (In Russian).

Ginzburg, E. (1991). *Krutoi marshrut* [Into the whirlwind]. Moscow: Kniga. (In Russian).

Gorbatov, A. V. (1989). *Gody i voiny* [Years and wars]. Moscow: Voenizdat. (In Russian).

Kahneman, D. (2011). *Thinking fast and slow*. New York: Farrar, Strauss and Giroux.

Kokurin, A. I., Morukov, Iu. N. (eds.) (2005). *Stalinskie stroiki GULAGa. 1930 — 1953* [Stalin's construction projects by the GULAG: 1930–1953] A. N. Iakovlev (gen. ed.). Moscow: MFD. (In Russian).

Lotman, Yu. M. (1994). *Besedy o russkoi kul'ture. Byt i traditsii russkogo dvorianstva (XVIII — nachalo XIX veka)* [Conversations on Russian culture. Everyday life and traditions of the Russian nobility (the 18th — early 19th centuries)]. St. Petersburg: Iskusstvo–SPB. (In Russian).

Mikhailik, E. Iu. (2002). Kot, begushchii mezhdu Solzhenitsynym i Shalamovym [A cat, running between Solzhenitsyn and Shalamov]. In V. V. Esipov (ed.). *Shalamovskii sbornik* [The Shalamov collection of articles], *iss. 3*, 101–114. Vologda: Grifon. (In Russian).

Mikhailik, E. Iu. (2009). Ne otrazhaetsia i ne otbrasyvaet teni: "zakrytoe" obshchestvo i lagernaia literatura [Has no reflection and casts no shadow: "closed" society and prison camp literature]. *Novoe literaturnoe obozrenie* [New literary review]*, 100*, 356–375. (In Russian).

Mikhailik, E. Iu. (2013). Dokumentnost' "Kolymskikh rasskazov" Shalamova: deformatsiia kak podlinnost' [Documentality of the "Kolyma Tales" by Shalamov: deformation as authenticity]. In I. M. Kaspe (ed.). *Status dokumenta: okonchatelnaia bumazhka ili otchuzhdennoe svidetel'stvo?* [Status of a document: Final paper or alienated evidence?], 298–322. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russian).

Redelmeier, D. A., Kahneman, D. (1996). Patients' memories of painful medical treatments: Real-time and retrospective evaluations of two minimally invasive procedures. *Pain, 66*(1), 3–8.

Shalamov, V. T. (2004–2013). *Sobranie sochinenii* [Collected works] (Vols. 1–6). Moscow: TERRA — Knizhnyi klub. (In Russian).

Solzhenitsyn, A. I. (2006). *Arkhipelag GULag (1918–1956): Opyt khudozhestvennogo issledovaniia* [The Gulag Archipelago (1918–1956): An experiment in literary investigation] (Vols. 1–2). Ekaterinburg: U-Faktoriia. (In Russian).

Timofeev, L. (1991). Poetika lagernoi prozy: Pervoe chtenie "Kolymskikh rasskazov" V. Shalamova [Poetics of the prison camp prose: the first readings of the "Kolyma Tales" by V.Shalamov]. *Oktiabr'* [October]*, 1991*(3), 182–195. (In Russian).

Toker, L. (2015). Rereading Varlam Shalamov's 'June' and 'May': Four kinds of knowledge. In F. Fischer von Weikersthal, K. Thaidigsmann (eds.). *(Hi)stories of the Gulag*. Heidelberg: Universitätsverlag Winter (forthcoming).

Zabolotskii, N. A. (1995). *Ogon', mertsaiushchii v sosude...: Stikhotvoreniia i poemy. Perevody. Pis'ma i stat'i. Zhizneopisanie. Vospominaniia sovremennikov. Analiz tvorchestva* [Fire flickering within a vessel…: Verses and poems. Translations. Letters and essays. Autobiography. Accounts from contemporaries. Analysis]. N. N. Zabolotskii (ed.). Moscow: Pedagogika-Press. (In Russian).

Zeliak, V. G. (2004). *Piat' metallov Dal'stroia: Istoriia gornodobyvaiushchei promyshlennosti Severo-Vostoka v 30-x — 50-x gg. XX v.* [Five metals of Dalstroy: history of the mining industry in the Russian North-East in the '30s–'50s of the 20th century]. Magadan: [n. p.]. (In Russian).

Zhigulin, A. V. (1996). *Chernye kamni*. *Uranovaia udochka* [Black stones. A uranium fishing-rod]. Moscow: Kul'tura. (In Russian).

Mikhailik, E. Iu. (2016). Time in the "Kolyma Tales". 1939 — the year that wasn't there. *Shagi / Steps, 2*(1), 28–43